

*Ессе Ното**

*Как становятся
сами собою*

* Ессе Ното — Се Человек (лат.) — (Здесь и далее прим. ред.)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предвидении, что не далек тот день, когда я должен буду подвергнуть человечество испытанию более тяжкому, чем все те, каким оно когда-либо подвергалось, я считаю необходимым сказать, *кто* я. Знать это, в сущности, не так трудно, ибо я не раз «свидетельствовал о себе». Но несоответствие между величию моей задачи и *ничтожеством* моих современников проявилось в том, что меня не слышали и даже не видели. Я живу на свой собственный кредит, и, быть может, то, что я живу, — один предрассудок?.. Мне достаточно только поговорить с каким-нибудь «культурным» человеком, прошедшим лето в Верхнем Энгадине, чтобы убедиться, что я не живу... При этих условиях возникает обязанность, против которой в сущности возмущается моя обычная сдержанность и еще больше гордость моих инстинктов, именно обязанность сказать: *Выслушайте меня, ибо я такой-то и такой-то. Прежде всего не смешивайте меня с другими!*

2

Я, например, вовсе не пугало, не моральное чудовище — я даже натура, противоположная той породе людей, которую до сих пор почитали как добродетельную. Между нами, как мне кажется,

именно это составляет предмет моей гордости. Я ученик философа Диониса, я предпочел бы скорее быть сатиром, чем святым. Но пусть читают только этот труд. Быть может, он не имеет другого смысла, как объяснить эту противоположность в более светлой и доброжелательной форме. «Улучшить» человечество — было бы последним, что я мог бы обещать. Я не создаю новых кумиров, пусть научатся у древних, во что обходятся глиняные ноги. Мое дело скорее — *низвергать* кумиры — так называю я идеалы. В той мере, в какой *выдумали* мир идеальный, отняли у реальности ее ценность, ее смысл, ее истинность... «Мир истинный» и «мир кажущийся» — по-немецки мир *вымышленный* и реальность... *Ложь* идеала была до сих пор проклятием, тяготевшим над реальностью. Само человечество, проникаясь этой ложью, извращалось вплоть до глубочайших своих инстинктов, до обоготворения ценностей *обратных* тем, которые обеспечивали бы развитие, будущность, высшее *право* на будущее.

3

Тот, кто умеет дышать воздухом моих сочинений, знает, что это воздух высот, *здоровый* воздух. Надо быть созданным для него, иначе рискуешь простудиться. Лед вблизи, чудовищное одиночество — но как безмятежно покоятся все вещи в этом свете! Как легко дышится! Сколь многое чувствуешь *ниже* себя! — Философия, как я ее до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание среди льдов и горных высот, искание всего странного и загадочного в существовании, всего, что до сих пор было гонимо моралью. Долгий опыт, приобретенный мною в этом странствова-

нии *по запретному*, научил меня смотреть иначе, чем могло быть желательно, на причины, заставлявшие до сих пор морализировать и создавать идеалы. Мне открылась *скрытая* история философии, психология ее великих имен. Та степень истины, какую только дух *переносит*, та степень истины, до которой только *держает дух*, — вот что все больше и больше становилось для меня настоящим мерилom ценности. Заблуждение (вера в идеал) не есть слепота, заблуждение есть *трусость*. Всякое завоевание, всякий шаг вперед в познании *вытекает* из мужества, из строгости к себе, из чистоплотности в отношении себя... Я не отвергаю идеалов, я только надеваю пред ними перчатки... Nitimur in vetitum¹: этим знамением некогда победит моя философия, ибо до сих пор основательно запрещалась только истина.

4

Среди моих сочинений мой *Заратустра* занимает особое место. Им сделал я человечеству величайший дар, какой я до сих пор делал ему. Эта книга с голосом, звучащим над тысячелетиями, есть не только самая высокая книга, которая когда-либо существовала, настоящая книга горного воздуха — сам факт человека лежит в чудовищной дали ниже ее, — она также книга *самая глубокая*, рожденная из самых сокровенных недр истины, неисчерпаемый колодец, откуда всякое погружившееся ведро возвращается на поверхность полным золотом и добром. Здесь говорит не «пророк», не одно из тех ужасных двойственных существ из болезни и воли к власти, которые зовутся основателями ре-

¹ Мы склонны к запретному (*лат.*).

лигий. Надо прежде всего правильно *вслушаться* в голос, исходящий из этих уст, в этот алкионический тон, чтобы не ошибиться в значении его мудрости. «Самые тихие слова — те, что приносят бурю. Мысли, приходящие как голубь, управляют миром».

Плоды падают со смоковниц, они хороши и сладки; и пока они падают, сдирается красная кожа их.

Я северный ветер для спелых плодов.

Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам наставления эти, друзья мои: теперь пейте их сок и ешьте их сладкое мясо!

Осень кругом нас, и чистое небо, и время после полудня.

Здесь говорит не фанатик, здесь не «проповедают», здесь не требуют веры: из бесконечной полноты света и глубины счастья падает капля за каплей, слово за словом, — нежная медленность есть темп этих речей. Подобные речи доходят только до самых избранных; быть здесь слушателем — несравненное преимущество; не всякий имеет уши для Заратустры... Тем не менее не *соблазнитель ли* Заратустра?.. Но что же говорит он сам, когда в первый раз опять возвращается к своему одиночеству? Прямо противоположное тому, что сказал бы в этом случае какой-нибудь «мудрец», «святой», «спаситель мира» или какой-нибудь декадент... Он говорит не только иначе, он и сам иной...

Ученики мои, теперь ухожу я один! Уходите теперь и вы, и тоже одни! Так хочу я.

Уходите от меня и защищайтесь от Заратустры! А еще лучше: стыдитесь его! Быть может, он обманул вас. Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.

Плохо оплачивает тот учителю, кто навсегда остается только учеником. И почему не хотите вы ощипать венок мой?

Вы уважаете меня; но что будет, если некогда *падет* уважение ваше? Берегитесь, чтобы кумир не убил вас!

Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре? Вы — верующие в меня, но что толку во всех верующих!

Вы еще не искали себя, когда нашли меня.

Так поступают все верующие; потому-то вера так мало значит.

Теперь я приказываю вам потерять меня и найти себя; и только *когда вы отречетесь от меня*, я вернусь к вам...

Фридрих Ницше

В тот совершенный день, когда все достигает зрелости и не одни только виноградные грозди краснеют, упал луч солнца и на мою жизнь: я оглянулся назад, я посмотрел вперед, и никогда не видел я сразу столько хороших вещей. Не напрасно хоронил я сегодня мой сорок четвертый год, у меня было право хоронить его, что было в нем жизненно, было спасено, стало бессмертным. Первая книга *Переоценки всех ценностей, Песни Заратустры*¹, *Падение кумиров*, моя попытка философствовать молотом — все это дары, принесенные мне этим годом, даже его последнею четвертью! *Почему же мне не быть благодарным всей своей жизни?*

Итак, я рассказываю себе свою жизнь.

Почему я так мудр. Счастье моего существования, его отличительная черта лежит, быть может, в его судьбе: выражаясь в форме загадки, я умер, как продолжение моего отца; но, как продолжение

¹ Имеются в виду «Дионисовы дифирамбы», девять стихотворений, три из которых вошли в четвертую часть «Так говорил Заратустра», а остальные писались и перерабатывались во второй половине 1888 г.

матери, я еще живу и старею. Это двойственное происхождение от самой высшей и от самой низшей ступени на лестнице жизни — одновременно и декадент, и *начало* — всего лучше объясняет эту, быть может, отличительную для меня нейтральность, эту независимость от партий перед лицом общей проблемы жизни. У меня более тонкое, чем у кого-либо другого, чувство восходящей и нисходящей эволюции; в этой области я учитель *rag excellence*¹, — я знаю ту и другую, я воплощаю ту и другую. Мой отец умер тридцати шести лет: он был хрупким, добрым и болезненным существом, которому предназначено было пройти бесследно, — он был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью. Его существование пришло в упадок в том же году, как и мое: в тридцать шесть лет я опустился до самого низшего предела своей жизненности, — я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В это время — это было в 1879 году — я покинул профессию в Базеле, прожил летом *как тень* в Санкт-Морице, а следующую зиму, самую бедную солнцем зиму моей жизни, провел, *как тень*, в Наумбурге. Это был мой минимум: «Странник и его тень» возник тем временем. Без сомнения, я понимал тогда толк в тенях... В следующую зиму, мою первую зиму в Генуе, то смягчение и одухотворение, которое несет с собой крайнее оскудение в крови и мускулах, создали «Утреннюю Зарю». Совершенная ясность, прозрачность, даже чрезмерность духа, отразившаяся в названном произведении, уживалась во мне не только с самой глубокой физиологической слабостью, но и с избытком чувства страдания. Среди пытки трехдневных непрерывных го-

¹ По преимуществу (*лат.*).

ловных болей, сопровождавшихся обильной рвотой, — я обладал ясностью диалектика *par excellence*, очень хладнокровно размышлял о вещах, для которых, в более здоровых условиях, не нашел бы в себе достаточно утонченности и спокойствия, не нашел бы дерзости поднимающегося на высоту. Мои читатели, может быть, знают, до какой степени я считаю диалектику симптомом декаданса, например, в самом знаменитом образе: в образе Сократа. Все болезненные нарушения интеллекта, даже полуобморок, следующий за лихорадкой, оставались до сего времени совершенно чуждыми для меня вещами, о природе которых я впервые узнал лишь научным путем. Моя кровь бежит медленно. Никому никогда не удавалось обнаружить у меня жар. Один врач, долго лечивший меня как нервноболивого, сказал наконец: «Нет! больны не ваши нервы, а я сам болен нервами». Конечно, хотя этого и нельзя доказать, во мне есть частичное вырождение; мой организм не поражен никакой гастрической болезнью, но вследствие общего истощения я страдаю крайней слабостью желудочной системы. Болезнь глаз, доводившая меня подчас почти до слепоты, была не причиной, а только следствием: всякий раз, как возрастали мои жизненные силы, возвращалось ко мне в известной степени и зрение. Длинный, слишком длинный ряд лет означает у меня выздоровление, — он означает, к сожалению, также и обратный кризис, упадок, периодичность известного рода декаданса. Нужно ли после этого говорить, что я *испытан* в вопросах декаданса? Я прошел его во всех направлениях, взад и вперед. Само это многогранное искусство схватывать и понимать вообще, этот указатель нюансов, эта психология оттенков и изгибов и все, что образует мою особенность, — все это

было тогда впервые изучено и составило истинный дар того времени, когда все во мне утончилось, само наблюдение и все органы наблюдения. Рассматривать с точки зрения больного *более здоровые* понятия и ценности и, наоборот, с точки зрения полноты и самоуверенности *более богатой* жизни смотреть на таинственную работу инстинкта вырождения — таково было мое длительное упражнение, мой истинный опыт, и если в чем, так именно в этом я стал мастером. Теперь у меня есть опыт, опыт в том, чтобы *перемещать перспективы*: главное основание, почему одному только мне, быть может, стала вообще доступна «переоценка ценностей».

2

Если не принимать во внимание, что я декадент, я еще и его противоположность. Мое доказательство, между прочим, состоит в том, что я всегда инстинктивно выбирал *верные* средства против болезненных состояний: тогда как декадент всегда выбирает вредные для него средства. Как *summa summarum*¹, я был здоров; как частность, как отдельный случай, я был декадент. Энергия к абсолютному одиночеству, отказ от привычных условий жизни, усилие над собою, чтобы больше не заботиться о себе, не служить себе и не позволять себе *лечиться* — все это обнаруживает безусловный инстинкт — уверенность в понимании, *что было* тогда прежде всего необходимо. Я сам забрал себя в руки, я сам сделал себя опять здоровым: условие для этого — всякий физиолог с этим согласится — *это быть в основном здоровым*. Существо типически болезненное не может стать

¹ В целом (*лат.*).

здоровым и еще меньше может сделать себя здоровым; для типически здорового, наоборот, болезнь может даже быть энергическим *стимулом* к жизни, к продлению жизни. Так на самом деле представляется мне *теперь* этот долгий период болезни; я как бы вновь открыл жизнь, включил себя в нее, я находил вкус во всех хороших и даже незначительных вещах, тогда как другие не легко могут находить в них вкус, — я сделал из моей воли к здоровью, к жизни, мою философию... Потому что — и это надо отметить: я перестал быть пессимистом в годы моей наименьшей жизненности: инстинкт самовосстановления *воспретил* мне философию нищеты и отчаяния. А в чем проявляется в сущности *удачность!* В том, что удачный человек приятен нашим внешним чувствам, что он вырезан из дерева твердого, нежного и вместе с тем благоухающего. Ему нравится только то, что ему полезно; его удовольствие, его желание прекращается, когда переступается мера полезного. Он угадывает целебные средства против повреждений, он обращает в свою пользу вредные случайности; что его не губит, делает его сильнее. Он инстинктивно собирает из всего, что он видит, слышит, переживает, *свою* сумму: он сам отбирающий принцип, он многое пропускает мимо. Он всегда в *своем* обществе, окружен ли он книгами, людьми или ландшафтами: он достаивает чести, *выбирая, допуская, доверяя*. Он реагирует на всякого рода раздражения медленно, с тою медленностью, какую выработали в нем долгая осторожность и намеренная гордость, — он испытывает раздражение, которое приходит к нему, но он далек от того, чтобы идти ему навстречу. Он не верит ни в «несчастье», ни в «вину»: он справляется с собою, с другими: он умеет *забывать*, он достаточно силен, чтобы все

обращать себе на благо. Ну что ж, я *противоположность* декадента: ибо я только что описал *себя*.

3

Этот *двойной* ряд опытов, эта доступность в мнимо разъединенные миры повторяется в моей натуре во всех отношениях, — я двойник, я имею еще «второе» лицо, кроме первого... И может быть, еще и третье... Уже мое происхождение позволяет мне проникать взором по ту сторону всех обусловленных только местностью, только национальностью перспектив, мне не стоит никакого труда быть «хорошим европейцем». С другой стороны, я, может быть, больше немец, чем им могут быть нынешние немцы, простые немцы Империи, — я последний *антиполитический* немец. И однако мои предки были польские дворяне: оттуда в моем теле много расовых инстинктов, кто знает? Далее в конце концов есть еще *liberum veto*¹. Когда я думаю о том, как часто обращаются ко мне в дороге как к поляку даже поляки, как редко меня принимают за немца, может показаться, что я был только *пристегнут* к немцам. Однако моя мать, Франциска Элер, во всяком случае нечто очень немецкое; так же как и моя бабка с отцовской стороны, Эрдмута Краузе. Последняя провела всю свою молодость в добром старом Веймаре, не без общения с кружком Гете. Ее брат, профессор богословия в Кенигсберге, был призван после смерти Гердера в Веймар в качестве генерал-суперинтенданта. Возможно, что их мать, моя прабабка, фигурирует под именем Мутген

¹ Свободное вето (*лат.*). Право, по которому в польском сейме (с XVI по XIX в.) любой его член мог одним своим словом аннулировать решение сейма.

в дневнике юного Гете. Она вышла замуж второй раз за суперинтенданта Ницше в Эйленбурге; в тот день великой войны 1813 года, когда Наполеон со своим генеральным штабом вступил 10 октября в Эйленбург, она разрешилась от бремени. Она, как саксонка, была большой почитательницей Наполеона; возможно, что это перешло и ко мне. Мой отец, родившийся в 1813 году, умер в 1849 году. До вступления в обязанности приходского священника общины Рёккен близ Лютцена он жил несколько лет в Альтенбургском дворце и был там преподавателем четырех принцесс. Его ученицами были ганноверская королева, жена великого князя Константина, великая герцогиня Ольденбургская и принцесса Тереза Саксен-Альтенбургская. Он был преисполнен глубокого благоговения перед прусским королем Фридрихом-Вильгельмом Четвертым, от которого он получил церковный приход; события 1848 года чрезвычайно опечалили его. Я сам, рожденный в день рождения названного короля, 15 октября, получил, как и следовало, имя Гогенцоллернов *Фридрих* Вильгельм. Одну выгоду во всяком случае представлял выбор этого дня: день моего рождения был в течение всего моего детства праздником. Я считаю большим преимуществом то, что у меня был такой отец: мне кажется даже, что этим объясняются все другие мои преимущества, — не считая жизни, великого утверждения жизни. Прежде всего то, что мне не нужно устремление, а только простое выжидание, чтобы невольно вступить в мир высоких и тонких вещей: я там дома, моя самая сокровенная страсть становится там впервые свободной. То, что я заплатил за это преимущество почти ценою жизни, не есть, конечно, несправедливая сделка. Чтобы только что-нибудь понять в моем Заратустре, на-

до, быть может, находиться в таких же условиях, как я, — одной ногой стоять *по ту сторону* жизни...

4

Я никогда не знал искусства восстанавливать против себя — этим я также обязан моему несравненному отцу, — и даже когда это представлялось мне очень ценным. И как бы это ни казалось не по-христиански, я даже не восстановлен против самого себя. Можно вертеть мою жизнь во все стороны, и редко, в сущности один только раз, будут открыты следы недоброжелательства ко мне, — но, может быть, найдется слишком много следов *добро*го отношения ко мне... Мои опыты даже с теми, над которыми все производят неудачные опыты, говорят скорее в их пользу; я приручаю всякого медведя; я делаю канатных плясунов все еще благонравными. В течение семи лет, когда я преподавал греческий язык в старшем классе базельского Педагогиума, у меня ни разу не было повода прибегнуть к наказанию; самые ленивые были у меня прилежны. Я всегда выше случая; мне не надо было быть подготовленным, чтобы владеть собой. Из какого угодно инструмента, будь он даже так расстроен, как только может быть расстроен инструмент «человек», если я не болен, мне удастся извлечь нечто, что можно слушать. И как часто слышал я от самих «инструментов», что еще никогда они *так* не звучали... Лучшее всего, может быть, слышал я это от того непростительно рано умершего Генриха фон Штейна¹, который однажды, после заботливо неспрошенного позволения,

¹ Штейн Г. фон (1857—1887) — немецкий философ, воспитатель в доме Вагнеров.

явился на три дня в Сильс-Мария, объясняя всем и каждому, что он приехал не ради Энгадина. Этот отличный человек, погрязший со всей стремительной наивностью прусского юнкера в вагнеровском болоте (и кроме того, еще и в дюрингском!), был в эти три дня словно перерожден бурным ветром свободы, подобно тому, кто вдруг поднимается на *свою* высоту и получает крылья. Я повторял ему, что это дело хорошего воздуха здесь наверху, что так бывает с каждым, кто недаром поднимается на высоту 6000 футов над Байрейтом, — но он не хотел мне верить... Если, несмотря на это, против меня был совершен не один малый или большой проступок, то не «воля», меньше всего *злая* воля была причиной тому: скорее я мог бы — я только что указывал на это — жаловаться на добрую волю, причинившую в моей жизни немалый беспорядок. Мои опыты дают мне право на недоверие вообще к так называемым бескорыстным инстинктам, к «любви к ближнему», готовой всегда на совет и на дело. Для меня она сама по себе есть слабость, отдельный случай неспособности бороться против раздражений, — *сострадание* только у декадентов зовется добродетелью. Я упрекаю сострадательных в том, что они легко утрачивают стыдливость, уважение и деликатное чувство расстояния, что сострадание в мгновение ока заражается запахом толпы и походит, до возможности смешения, на дурные манеры, — что сострадательные руки могут при обстоятельствах разрушительно вторгнуться в великую судьбу, в уединение после ран, в *преимущественное право* на тяжелую судьбу. Преодоление сострадания отношу я к аристократическим добродетелям: в «Искушении Заратустры» я описал тот случай, когда до него доходит великий крик о помощи, когда сострадание,

как последний грех, нисходит на него и хочет его заставить изменить себе. Здесь остаться господином, здесь *высоту* своей задачи сохранить в чистоте перед более низкими и близорукими побуждениями, действующими в так называемых бескорыстных поступках, в этом и есть испытание, может быть последнее испытание, которое должен пройти Заратустра — истинное *доказательство его силы*...

5

Также и в другом отношении я являюсь еще раз моим отцом и как бы продолжением его жизни после слишком ранней смерти. Подобно каждому, кто никогда не жил среди равных себе и кому понятие «возмездие» так же не доступно, как понятие «равные права», я запрещаю себе в тех случаях, когда совершается в отношении меня малая или *очень большая* глупость, всякую меру противодействия, всякую меру защиты, — равно как и всякую защиту, всякое «оправдание». Мой способ возмездия состоит в том, чтобы как можно скорее послать во след глупости что-нибудь умное, таким образом, быть может, еще можно догнать ее. Говоря сравнением: я посылаю горшок с вареньем, чтобы отделаться от *кислой* истории... Стоит только дурно поступить со мною, я «мщу» за это, в этом можно быть уверенным: я нахожу в скорости случай выразить «злостью» свою благодарность (между прочим, даже за злодеяние) — или попросить о чем-нибудь, что обязывает к большему, чем что-нибудь дать... Также кажется мне, что самое грубое слово, самое грубое письмо все-таки вежливее, все-таки честнее молчания. Тем, кто молчит, не хватает почти всегда тонкости и вежливости сердца; молчание есть возражение; прогла-

тывание по необходимости создает дурной характер, — оно портит даже желудок. Все молчащие страдают дурным пищеварением. Как видно, я не хотел бы, чтобы грубость была оценена слишком низко, она является самой гуманной формой противоречия и, среди современной изнеженности, одной из наших первых добродетелей. Кто достаточно богат, для того является даже счастьем нести на себе несправедливость. Бог, который сошел бы на землю, не стал бы ничего другого *делать*, кроме несправедливости, — взять на себя не наказание, а *вину* — только это было бы впервые божественно.

6

Свобода от злобы, ясное понимание мщения — кто знает, как много за это я обязан своей долгой болезни! Проблема не так проста: надо пережить ее, исходя из силы и исходя из слабости. Если следует что-нибудь вообще возразить против состояния болезни, против состояния слабости, так это то, что в нем слабеет истинный инстинкт исцеления, а это и есть *инстинкт обороны и нападения* в человеке. Ни от чего не можешь отделаться, ни с чем не можешь справиться, ничего не можешь оттолкнуть — все оскорбляет. Люди и вещи подходят назойливо близко, переживания поражают слишком глубоко, воспоминание является гноящейся раной. Болезненное состояние само *есть* вид злобы. Против него есть у больного только одно великое целебное средство — я называю его *русским фатализмом*, тем фатализмом без возмущения, с каким русский солдат, когда ему слишком тяжел военный поход, ложится наконец в снег. Ничего вообще больше не принимать, не допускать к себе, не воспринимать в себя — вообще не

реагировать больше... Глубокий смысл этого фатализма, который не всегда есть только мужество к смерти, но и сохранение жизни при самых опасных для жизни обстоятельствах, выражает ослабление обмена веществ, его замедление, род воли к зимней спячке. Несколько шагов дальше в этой логике, и приходишь к факиру, неделями спящему в гробу... Так как люди истощались бы слишком быстро, *если бы* реагировали вообще, то они уже вовсе не реагируют: это логика. Но ни от чего не сгорают быстрее, чем от аффектов злобы. Досада, болезненная чувствительность к оскорблениям, бессилие в мести, желание, жажда мести, отравление во всяком смысле — все это для истощенных есть, несомненно, самый опасный род реагирования: быстрая трата нервной силы, болезненное усиление вредных выделений, например желчи в желудок, обусловлены всем этим. Злоба есть нечто запретное *само по себе* для больного — *его зло*: к сожалению, также и его самая естественная склонность. Это понимал глубокий физиолог Будда. Его «религия», которую можно было бы скорее назвать *гигиеной*, чтобы не смешивать ее с такими противоположными вещами, как христианство, ставила свое действие в зависимость от победы над злобой: освободить от *нее* душу есть первый шаг к выздоровлению. «Не враждою оканчивается вражда, дружбою оканчивается вражда». Это стоит в начале учения Будды — так говорит не мораль, так говорит физиология. Злоба, рожденная из слабости, всего вреднее самому слабому, — в противоположном случае, когда предполагается богатая натура, злоба является *лишним* чувством, чувством, над которым остаться господином есть уже доказательство богатства. Кто знает серьезность, с какой моя философия предприняла

борьбу с чувством мести и злобы вплоть до учения о «свободной воле» — моя борьба с христианством есть только частный случай ее, — поймет, почему именно здесь я выясняю свое личное поведение, свой *инстинкт-уверенность* на практике. Во времена упадка я *запрещал* их себе как вредные; как только жизнь становилась опять достаточно богатой и гордой, я запрещал их себе как нечто, что *ниже* меня. Тот «русский фатализм», о котором я говорил, проявлялся у меня в том, что годами я упорно держался за почти невыносимые положения, местности, жилища, общества, раз они были даны мне случаем, — это было лучше, чем изменять их, чем *чувствовать* их изменимыми, — чем восставать против них... Мешать себе в этом фатализме, насильно возбуждать себя считал я тогда смертельно вредным: поистине это и было каждый раз смертельно опасно. Принимать себя самого как фатум, не хотеть себя «иным» — это и есть в таких обстоятельствах само *великое разумение*.

7

Иное дело война. Я по-своему воинствен. Нападать принадлежит моим инстинктам. *Уметь* быть врагом, быть врагом — это предполагает, может быть, сильную натуру, во всяком случае это обусловлено в любой сильной натуре. Ей нужны сопротивления, следовательно, она *ищет* сопротивления: *агрессивный* пафос так же необходимо принадлежит силе, как чувство мести и злобы слабости. Женщина, например, мстительна: это обусловлено ее слабостью, так же как и ее чувствительность к чужой беде. Сила нападающего имеет в противнике, который ему нужен, род *меры*; всякое возрастание проявляется в поиске более сильного про-

тивника — или проблемы: ибо философ, который воинствен, вызывает и проблемы на поединок. Задача не в том, чтобы победить вообще сопротивление, но преодолеть такое сопротивление, на которое нужно затратить всю свою силу, ловкость и умение владеть оружием, — *равного* противника... Равенство перед врагом есть первое условие *честной* дуэли. Где презирают, там *нельзя* вести войны; где повелевают, где видят нечто ниже себя, там *не должно* быть войны. Моя практика войны выражается в четырех положениях. Во-первых: я нападаю только на вещи, которые победоносны, — я жду при обстоятельствах, когда они будут победоносны. Во-вторых: я нападаю только на вещи, против которых я не нашел бы союзников, где я стою один — где я только себя компрометирую... Я никогда публично не сделал ни одного шага, который не компрометировал бы: это *мой* критерий правильного образа действий. В-третьих: я никогда не нападаю на личности, — я пользуюсь личностью только как сильным увеличительным стеклом, которое может сделать очевидным общее, но ускользающее и трудноуловимое бедствие. Так напал я на Давида Штрауса, вернее, на *успех* его дряхлой книги у немецкого «образования», — так поймал я это образование на деле... Так напал я на Вагнера, точнее, на лживость, на инстинкт-двойственность нашей «культуры», которая смешивает утонченных с богатыми, запоздалых с великими. В четвертых: я нападаю только на вещи, где исключено всякое различие личностей, где нет никакой подкладки дурных опытов. Напротив, нападение есть для меня доказательство доброжелательства, при некоторых обстоятельствах даже благодарности. Я оказываю честь, я отличаю тем, что связываю свое имя с вещью, с личностью: за или против — это мне

безразлично. Если я веду войну с христианством, то это подобает мне, потому что с этой стороны я не переживал никаких фатальностей и стеснений, — самые убежденные христиане всегда были ко мне благосклонны. Я сам противник христианства *de gigueur*¹, далек от того, чтобы мстить отдельным лицам за то, что является судьбой тысячелетий.

8

Могу ли я осмелиться указать еще одну, последнюю черту моей природы, которая в общении с людьми причиняет мне немалые затруднения? Мне присуща совершенно тревожная впечатлительность инстинкта чистоты, так что близость — что говорю я? — самое сокровенное, или «внутренности», всякой души я воспринимаю физиологически — *обоняю*... В этой впечатлительности содержатся мои психологические усики, которыми я ощупываю и овладеваю всякой тайною: большая *скрытая* грязь на дне иных душ, обусловленная, быть может, дурной кровью, но замаскированная воспитанием, становится мне известной почти при первом соприкосновении. Если мои наблюдения правильны, такие непримиримые с моей чистоплотностью природы относятся, со своей стороны, с предосторожностью к моему отвращению, но от этого запах от них не становится лучше... Как я себя постоянно приучал — крайняя чистота в отношении себя есть предварительное условие моего существования, я погибаю в нечистых условиях, — я как бы плаваю, купаюсь и плескаюсь постоянно в светлой воде или в каком-нибудь другом совершенно прозрачном и блестящем элементе. Это делает мне из общения с людьми

¹ По необходимости (*фр.*).

немалое испытание терпения; моя гуманность состоит не в том, чтобы сочувствовать человеку, как он есть, а в том, чтобы *переносить*, что я чувствую его подле себя... Моя гуманность есть постоянное преодоление самого себя. Но мне нужно *одиночество*, я хочу сказать, исцеление, возвращение к себе, дыхание свободного, легкого, играющего воздуха... Весь мой Заратустра есть дифирамб одиночеству или, если меня поняли, чистоте... К счастью, *не чистому безумству*... У кого есть глаза для красок, тот назовет его алмазным. *Отвращение* к человеку, к «черни» было всегда моей величайшей опасностью... Хотите послушать слова, в которых Заратустра говорит о своем *освобождении* от отвращения?

«Что же случилось со мной? Как избавился я от отвращения? Кто обновил мой взор? Как поднялся я на высоту, где чернь не сидит уже у источника?

Разве не само мое отвращение создало мне крылья и силы, угадавшие источник? Поистине, я должен был взлететь на самую высь, чтобы вновь обрести источник радости!

О, я нашел его, братья мои! Здесь на самой выси течет для меня источник радости! И существует жизнь, от которой не пьют чернь вместе с вами!

Слишком стремительно течешь ты для меня, источник радости! И часто опустошаешь ты кубок, желая наполнить его.

И мне надо еще научиться более скромно приближаться к тебе: еще слишком стремительно бьется мое сердце навстречу тебе.

Мое сердце, где горит мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное: как жаждет мое лето-сердце твоей прохлады!

Миновала медлительная печаль моей весны! Миновала злоба моих снежных хлопьев в июне! Летом сделался я всецело, и полуднем лета!